

Райнер Мария Рильке
ИЗ «РАССКАЗОВ О ГОСПОДЕ БОГЕ»

Перевел Абрам Эфрос / Публикация М. Толмачева-Нéхорошева

Чужой человек

Чужой человек написал мне письмо. Не об Европе писал мне чужой человек, не о Моисее, не о больших и не о малых пророках, не об императоре российском или о царе Иване Грозном, его ужасном предшественнике. Не о бургомистре или соседе-сапожнике, не о близлежащем городе, не о дальних городах; равно и о лесе со столькими сернами, где блуждаю я каждое утро, ничего в письме не говорится. Он отнюдь не рассказывает мне о своей матушке или о сестрах, которые, разумеется, давно уже замужем, быть может даже, его матушка уже умерла; иначе, как бы могло случиться, что на четырех страницах письма нигде не нахожу я упоминания о ней. Он оказывает мне куда большее доверие; он делает меня своим братом, он говорит мне о своей нужде.

Вечером чужой человек приходит ко мне. Я не зажигаю лампы, помогаю ему снять пальто и прошу его выпить со мной чаю, так как это как раз время, когда я ежедневно пью чай. А при таких близких посещениях незачем в чем-либо стесняться себя. Когда мы уже собираемся садиться за стол, я замечаю, что гость мой неспокоен; на лице у него явственный страх, и его руки дрожат. «В самом деле, — говорю я, — вот тут есть письмо для вас». И затем принимаюсь разливать чай. «Кладите сахару... может быть, вам лимону? Я в России научился пить чай с лимоном. Не желаете ли испробовать?» Затем я зажигаю лампу и ставлю ее далеко в угол, чуть высоко, так что сумерки, собственно, остаются в комнате, но лишь несколько более теплые, чем прежде — красноватые. И тогда лицо моего гостя тоже начинает казаться увереннее, теплее и много знакомее. Я еще раз приветствую его словами: «Знаете, я давно поджидал вас». И прежде еще, нежели чужой человек успевает удивиться, я объясняю ему: «Я знаю одну историю, которую не хочу рассказывать никому, кроме вас; не спрашивайте меня, почему, а скажите мне только, удобно ли вам сидеть, достаточно ли сладок чай и желаете ли вы выслушать историю». Мой гость вынужден был улыбнуться. Потом он ответил просто: «Да». — «На все: да?» — «На все».

Мы откинулись оба одновременно на стулья, так что лица у нас ушли в тень. Я поставил свой стакан с чаем, порадовался тому, как золотисто блестит чай, медленно позабыл об этой радости снова и вдруг спросил: «Вспоминаете ли вы еще когда-либо о Господе Боге?»

Чужой человек задумался. Глаза его углубились в темноту и, со своими маленькими бликами света в зрачках, стали подобны двум листовым сводам в каком-нибудь парке, над которым сверкающе и широко раскинулось лето и солнце. Те тоже начинаются так, круглым сумраком, и уходят во все более суживающуюся темноту, вплоть до некоей далекой мерцающей точки, — потустороннего выхода в, может быть, еще много более светлый день.

Пока я это распознавал, он произнес, колеблясь и как будто лишь неохотно пользуясь своим голосом: «Да, я еще помню о Боге».

«Ладно, поблагодарил я его, — потому что в моей истории дело как раз идет о Нем. Только сначала скажите мне еще вот что: беседуете ли вы иногда с детьми?» — «Да, случается так, мимоходом по крайней мере...» — «Вам, может быть известно и то, что Бог вследствие дурного послушания рук Своих, не знает, как собственно выглядит готовый человек?» — «Об этом однажды я где-то слышал, только не знаю, от кого...» — ответил гость, и я видел, как смутные воспоминания побежали по его лбу. «Все равно, — перебил я его, — слушайте дальше. Долгое время Бог сносил эту

неизвестность. Ибо терпеливость его, как и его мощь, велика. Но как-то раз, когда густые тучи залегли между ним и землей на много дней подряд, так что Он уже стал было сомневаться, не примерещилось ли Ему все это — мир, и люди, и время, кликнул он правую свою руку, которая так долго пребывала в изгнании и хоронилась от Его лика за разного рода малыми, незначащими делами. Та с готовностью поспешила явиться, ибо думала, что Бог хочет, наконец, даровать ей прощение. Когда ее увидел Бог так пред Собой — в красоте, юности и силе, Он уже, было, возжелал отпустить ей грех. Но во время одумался и приказал, не обращая к ней взгляда: «Ты спустишься на землю. Ты примешь такой же облик, какой увидишь у людей, и подымешься, в наготе своей, на гору, так чтобы я мог созерцать тебя. Как только спустишься вниз, подойди к какой-нибудь молодой женщине и скажи ей, но только совсем тихо: «Я хочу жить». Сначала вокруг тебя будет малый мрак, затем большой мрак, который именуется детством, потом ты станешь взрослым мужем и подымешься на гору, как Я тебе повелел. Все это займет одно только мгновенье. Прощай».

Правая рука простилась с левой, назвала ее многими ласковыми именами, причем существует даже утверждение, будто она внезапно опустилась перед той на колени и сказала: «...Ты, дух Святой...» Но тут уже подошел апостол Павел, отторгнул у Господа Бога правую руку, а один из архангелов подхватил ее и понес прочь под своим широким облачением. Бог же зажал Себе шуйцей рану, дабы Его кровь не пролилась на звезды, а с них не просочилась скорбными каплями вниз на землю. Немного времени спустя, Бог, внимательно наблюдавший за всем происходящим внизу, заметил, что люди, в железных одеяниях, возятся вокруг одной горы больше, чем вокруг всех прочих гор. И Он стал ждать, что там именно увидит Он, как начнет восходить Его рука. Но появился только некий человек, в точно бы красном одеянии, тащивший наверх что-то черное, шатающееся. В то же мгновение Божья шуйца, лежавшая поверх Его открытой крови, стала проявлять беспокойство и затем внезапно, прежде нежели Бог успел помешать ей, покинула свое место и стала блуждать, точно одержимая, промеж звезд и кричать: «О бедная десница... а я-то не могу ничем помочь ей». При этом она рвалась прочь с Божьего левого предплечья, на котором висела, и пыталась высвободиться. Вся земля покраснела от Божьей крови, так что нельзя было распознать, что там внизу происходит. В это время Бог чуть было не умер. Из последних сил позвал Он десницу свою обратно; она пришла, бледная и дрожащая, и легла на свое место, как больной зверь. Но и шуйца, которая ведь кое-что уже знала, так как распознала тогда внизу, на земле, правую Господню руку, когда та в красном одеянии подымалась на гору, все же не могла ничего выпытать у нее о том, что же дальше случилось на этой горе. Видимо, произошло нечто очень страшное. Ибо десница Господня все еще не оправилась от того события и страдает от воспоминания о нем не меньше, нежели от прежнего гнева Божья, так как Господь все еще не простил своим рукам». Голос мой немного отдохнул. Чужой человек закрыл лицо руками. Долго так сидел он. Потом сказал чужой человек голосом, который я давно знал:

«А для чего рассказали вы мне эту историю?»

«А кто бы мог еще понять меня? Вы приходите ко мне без звания, без должности, без какого-либо временного чина, почти без имени. Было темно, когда вы вошли, но я заметил в ваших чертах сходство...» Чужой человек вопрошающе поднял глаза. «Да, — ответил я его тихому взору, — я часто думаю, не снова ли в пути рука Господня...»

Дети узнали эту историю, причем, явно, она была им передана так, что они смогли все понять; ибо эту историю они любят.

Как завелась измена на Руси

Есть у меня еще один друг по соседству. Это — светловолосый параличный человек, неподвижно сидящий и зимой, и летом все у того же окна. Он может казаться очень молодым, и даже, порою, в его настороженном лице есть нечто мальчишеское. Но бывают также дни, когда он дряхлеет, минуты проходят точно годы над ним, и вот он — уже старик, и его усталые глаза почти уже отказались от жизни. Мы знакомы давно. Сначала мы обычно поглядывали друг на друга, затем невольно обменивались улыбкой, целый год здоровались, а Бог весть с какого времени рассказываем друг другу всякую всячину, невзначай, что придется.

«Добрый день, — окликнул он, когда я шел мимо, а его окно было еще настежь раскрыто в богатую и тихую осень. — Давненько я вас не видел». — «Добрый день, Эвальд. — Я подошел к его окну, как делал обычно, когда случалось идти мимо. — Я был в отъезде». — «А где вы были?» — спросил он, нетерпеливо глядя. — «В России» — «О, так далеко...», — он откинулся и потом: «Что это за страна, Россия? Очень большая, не правда ли?» — «Да, — сказал я, — велика она, а, кроме того...» — «Я глупо спросил», — улыбнулся Эвальд и покраснел. «Нет, Эвальд, напротив. Вы спросили: что это за страна? И мне кое-что стало ясно. Например, к чему примыкает Россия...» — «На востоке?» — перебил меня друг. Я подумал: «Нет». — «На севере?» — допытывался параличный. «Видите ли, — соображал я, — чтение географических карт испортило людей. Там все планы и тому подобное, и когда вы обозначили четыре части света, то вам кажется, будто все сделано. Но ведь страна-то не атлас. У нее есть горы и пропасти. Должна же она также и сверху, и снизу примыкать к чему-нибудь». — «Гм, — задумался друг, — вы правы. Что же может быть у России по соседству, с этих двух сторон?» Вдруг у больного точно бы стал вид мальчика. «Вы же знаете!» — воскликнул я. «Может быть, Бог?» — «Вот именно, — подтвердил я, — Бог!» — «Так, — вполне понимающе кивнул мне друг. Лишь потом на него нашли кое-какие сомнения: Да разве Бог это — страна?» — «Не думаю, — возразил я, — но в первобытных языках у многих вещей одно и то же название. Существует государство, которое называется «Бог», и тот, кто им правит, тоже называется «Бог». Простые народы часто не умеют отличить свой край от своего царя; тот и другой велик и благостен, страшен и велик».

«Понимаю, — медленно сказал человек у окна. — А чувствуется ли в России такое соседство?» — «Его чувствуешь при любой okazji, влияние Божие очень велико. Чего только ни привезут из Европы, все эти западные вещи превращаются в камни, едва лишь они минуют границу. В том числе бывают и драгоценные камни, но это исключительно для богатых, для так называемых «образованных»; меж тем как оттуда, из другого царства, идет хлеб, которым живет народ». — «Но этого-то у народа, конечно, в избытке?» Я колебался: «Нет, это не так, ввоз из Бога в силу некоторых обстоятельств затруднен...» Я попытался отвлечь его от этой мысли: «Но все же многое из обычаев той обширной приграничной страны перенято. Например, весь церемониал. С царем говорят наподобие как с Богом». — «Вот как, значит ему не говорят: ваше величество?» — «Нет, их обоих называют: батюшка». — «И перед обоими становятся на колени?» — «Перед обоими падают ниц, касаются лбом земли, плачут и говорят: грешен я, прости Ты меня, батюшка. Немцы, которым довелось это видеть, утверждают, что это совершенно недостойное раболепие. Я же думаю иначе. Что должно означать коленопреклонение? Смысл его таков: я выказываю почтение. Для этого достаточно обнажить голову, считает немец. Ну, само собой, приветствование, поклоны тоже могут до некоторой степени выразить это, но они суть сокращенности, возникшие в странах, где нет достаточно пространства, чтобы каждый мог лечь на землю. Однако сокращенностями пользуются обычно машинально и не

отдавая отчета в их смысле. Поэтому-то хорошо, там, где есть еще для этого место и время, изобразить всю статью этого прекрасного и важного слова: почтение».

«Да, ежели бы я мог, я тоже стал бы на колени», — помечтал параличный. «Но и многое другое, — продолжал я после паузы, — в России идет от Бога. Там испытываешь чувство, будто всякая новизна происходит от Него, каждое платье, каждое блюдо, каждое доброе дело, и даже каждый грех должен сперва получить Его разрешение, прежде нежели он войдет в обычай». Больной взглянул на меня почти испуганно. «Это только сказка, на которую я ссылаюсь, — поторопился я успокоить его, — так называемая былина, по нашему сказать — история. Я вкратце изложу ее содержание. Ее заглавие: «Как завелась измена на Руси». Я прислонился к окну, а параличный закрыл глаза, как обычно любил он делать, когда начинался какой-нибудь рассказ. «Грозный царь Иван захотел наложить дань на соседних князей и пригрозил им великой войной, ежели не пришлют они золота в Москву, белокаменный град. Князья же, подержав совет меж собой, ответили все как один человек: «Загадаем мы тебе три загадки. Приходи в назначенный нами день на Восток, к белому камню, куда и мы соберемся, и дай нам три ответа. Ежели верны они будут, то отдадим мы тебе двенадцать бочек золота, которые ты от нас требуешь». Сначала принялся, было, думать царь Иван Васильевич сам, да помешало ему множество колокольного звону в белокаменном граде его Москве. Позвал он тогда к себе ученых и мудрецов, и каждого, кто не мог дать ответа на загаданное, велел он отводить на большую Красную площадь, где как раз строилась церковь, в честь Василия, блаженного человека, и попросту отрубать ему голову. В эдаком занятии время летело у него так быстро, что наступил вдруг для него срок отправляться в путь на Восток, к белому камню, у которого дожидались его князья. Ответа ни на одну из трех загадок у него не было, но путь был долог, и все еще был случай повстречать мудрого человека, ибо в те времена много мудрецов состояло в бегах, так как все цари приняли обыкновение рубить им головы, ежели они казались им недостаточно мудрыми. Ни одного такого навстречу ему не попалось, но как-то утром приметил он старого бородатого мужика, который строил церковь. Дело у него зашло так далеко, что выводил он уже стропила крыши и крыл их малыми планками. Было только удивительно то, что старик всякий раз слезал с церкви на землю, чтобы поодиночке таскать каждую маленькую планку вместо того, чтобы сразу набрать их охапку в свой широкий кафтан. Так постоянно принужден он был лазить вверх и вниз, и не виделось даже конца, когда сможет он на эдакий манер вообще перенести все сотни планок на место. Царь потерял поэтому терпение: «Дуралей, — закричал он (так обыкновенно зовут в России мужиков), — тебе набрать поболее, а потом и лезть на церковь, оно и вышло бы куда проще». Крестьянин, который был как раз на земле, остановился, приложил руку к глазам и ответил: «А уж это ты предоставь мне, царь Иван Васильевич, каждый понимает свое ремесло лучше; только, кстати, раз уж ты здесь путь мимо держишь, скажу я тебе разгадку трех загадок, которую надо будет тебе знать у белого камня на востоке совсем неподалеку отсюда». И стал он вдалбливать ему все три ответа подряд. Царь от удивления едва сообразил, что нужно его отблагодарить. «Чего хочешь от меня в награду?» — спросил он наконец. «Ничего», — сказал мужик, взял планку и хотел взбираться на лестницу. «Стой, — приказал царь, — так негоже, должен ты чего-нибудь себе пожелать». «Что ж, батюшка, раз ты приказываешь, — отдай мне одну из двенадцати бочек золота, которые ты получишь от князей на Востоке. «Ладно, — кивнул царь, — дам я тебе бочку золота». Потом поехал он поспешно дальше, чтобы успеть не забыть разгадок.

Спустя время, когда царь с двенадцатью бочками вернулся с востока, заперся он в Москве, в своем дворце, посреди пятивратного Кремля и стал опорожнять одну бочку за другой на блещущий пол палаты, так что выросла настоящая гора золота, от которой падала большая черная тень наземь. По забывчивости опорожнил царь и двенадцатую бочку. Принялся, было, он ее снова наполнять, да стало ему жалко

столько золота брать назад из великолепной кучи. Ночью спустился он во двор, наложил тонкого песку в бочку, пока не наполнил ее на три четверти, вернулся потихоньку во дворец, положил золота поверх песку и послал завтра бочку с нарочным в ту местность далекой Руси, где старый крестьянин строил свою церковь. Когда тот увидел посланца, слез он с кровли, которая была еще далеко не достроена, и крикнул: «Не к чему тебе подъезжать ближе, дружище, отправляйся-ка назад вместе со своей бочкой, в которой наложено три четверти песку да малая четверть золота. Не нужна она. А господину своему скажи: «Не было до сей поры измены на Руси. Отныне же сам он виноват, коли заметит, что ни на одного человека положиться впредь не сможет; ибо сам он теперь показал, как заводят измену, и из века в век будет его пример вызывать по всей Руси многих подражателей. Золота мне не нужно, я могу прожить и без золота. Ждал я не золота от него, а правды и справедливости. Он же меня обманул. Так и скажи это твоему господину, грозному царю Ивану Васильевичу, что сидит в белокаменной своей Москве, с дурной совестью в золотом платье».

Отъехав немного, обернулся посланец: глядь — ни крестьянина, ни церкви нет. Да и сложенных планок больше не было, а только пустое, ровное место. Тогда помчался в страхе человек назад в Москву, предстал, запыхавшись перед царем и рассказал ему довольно нескладно о том, что случилось и что пресловутый крестьянин не иной кто был, как сам Господь Бог».

«А разве он был прав?» — заметил тихо мой друг, после того как мой рассказ затих.

«Все может быть... — ответил я, — только знаете, народ ведь... суеверен... а теперь, все же, мне надо идти, Эвальд». «Жаль, — сказал искренне параличный. — Не расскажете ли вы мне как-нибудь на днях еще какую-нибудь историю?» — «Охотно... но только с одним условием». Я снова подошел к окну. «А именно?» — удивился Эвальд. «Вы должны все это при случае пересказывать детям по соседству», — попросил я. «О, дети приходят ко мне так редко!» Я утешил его: «Они станут приходить. У вас явно в последнее время не было охоты им что-либо рассказывать, а может быть не было о чем или слишком много. Но ежели кто знает действительную историю, то неужто, думаете вы, ее можно утаить? Боже упаси, она идет кругом, в особенности промеж детей! До свидания». На этом я ушел.

И дети узнали историю в тот же самый день.

Как случилось, что наперсток стал Господом Богом

Когда я отошел от окна, вечерние облака все еще стояли на месте. Они словно бы выжидали. Уж не следует рассказать и им какую-нибудь историю? Я предложил им это. Но они меня совсем не слушали. Чтобы можно было меня понять и чтобы сократить расстояние между нами, я крикнул: «Я тоже вечернее облако». Они остановились; они явственно разглядывали меня. Потом они протянули мне свои тонкие просвечивающие, розоватые крылья. У вечерних облаков это — манера здороваться. Они признали меня.

— «Мы над землей, — объяснили они, — как раз над Европой, а ты?» Я медлил: «Есть тут некая страна...» — «Как она выглядит?» — осведомились они. «Да вот, — отозвался я, — сумерки с вещами...». — «Это тоже Европа», — засмеялось одно молодое облако. «Возможно, — сказал я, — но только я всегда слышал: вещи в Европе умерли». — «Да уж само собой, — презрительно заметило другое, — что за чепуха была бы: живые вещи!» — «Нет, — упрямо заметил я, — мои вот живы. В этом-то вся разница. Они могут становиться другими, и вещь, которая появляется на свет в виде карандаша или печки, еще не должна из-за этого отчаиваться в своей

будущности. Карандаш может при случае стать палкой, а при удаче — мачтой, печка же — по меньшей мере, городскими воротами».

«Мне сдается, что ты изрядно простовато», — сказала молодое облачко, которое уже и раньше выражалось так мало сдержанно. Старое облачище испугалось, не обидело ли это меня. «Бывают очень разные страны, — примирительно заметило оно, — мне довелось как-то призадуматься над одним небольшим немецким княжеством, и я по сей день еще не верю, что оно составляет часть Европы». Я поблагодарил его и сказал: «Я вижу, нам будет трудно столкнуться. Позвольте мне просто рассказать вам то, что в последнее время я заметил внизу под собой, — так будет лучше всего». — «Пожалуйста», — согласилось за всех других мудрое облачище. Я начал: «В комнате — люди. Я, надобно вам заметить, довольно высокого роста, и потому выходит так: они представляются мне детьми; так что я буду говорить просто: дети. Итак: в комнате дети. Двое, пятеро, шестеро, семеро детей. Понадобилось бы много времени, чтобы разузнать, как их зовут. Впрочем, дети как будто бы ревностно заняты разговором, а при таких обстоятельствах можно тем или иным именем и ошибиться. Они стоят так, сгрудившись, едва ли уже не целую минуту, ибо старшой (предполагаю, что его зовут Ганс) делает своего рода заключение: «Нет, решительно, так дальше продолжаться не может. Я слышал, что прежде родители всегда рассказывали детям вечерами, — скажем, избранными вечерами, — разные истории, пока те не засыпали. А разве теперь это бывает?» Потом Ганс сам ответил: «Нет не бывает, ни у кого. Поскольку дело касается меня, то так как я в некотором роде большой, я охотно дарю им эту пару несчастных драконов, над которыми им нужно было помучиться; но, все-таки, надлежало бы им сказать нам, что существуют ведьмы, гномы, принцы и чудовища». — «У меня есть тетя, — заметила одна крошка, — она иногда рассказывает мне...» — «Ах, что там, — коротко оборвал Ганс, — тетки не в счет, они врут». Все общество было очень напугано этим смелым, но непререкаемым утверждением. Ганс продолжал: «Да и речь здесь идет прежде всего о родителях, ибо на них в известной мере лежит обязанность этому обучать нас: для других это — дело доброй воли, и требовать от них этого нельзя. Однако, вы поглядите только: что делают наши родители — они ходят взад и вперед со злыми, оскорбленными лицами, все им не так, они кричат и ругаются, и вместе с тем они так равнодушны, что, провались мир, они едва заметили бы это. Есть у них нечто, что они именуют «идеалами». Может быть, это тоже своего рода маленькие дети, которых нельзя оставлять одних и которые требуют много ухода; но тогда им незачем было иметь нас. Так вот, ребята, я думаю так: что родители нами пренебрегают, это, разумеется, печально. Но мы могли бы еще снести это, ежели бы не было доказательств, что взрослые вообще начинают глупеть, идти вспять, если можно так выразиться. Мы упадка их задержать не можем, ибо не можем в течение всего дня оказывать на них влияния, а когда возвращаемся поздно из школы домой, тогда ни один человек не в праве от нас требовать, чтобы мы присели на место и стали пытаться заинтересовать их чем-либо порядочным. И так уже каждому бывает достаточно не по себе, когда сидишь у лампы, а мать не понимает даже Пифагоровой теоремы. Да, ничего иного не бывает... эдак взрослые будут становиться все глупее... пусть, что мы теряем от этого? Воспитание? Они приподнимают, встречаясь, шляпу, и, когда при этом обнаруживается лысина, смеются. Ежели бы по тем или иным поводам совесть не заставляла нас плакать, то и вовсе не было бы никакого равновесия в этом отношении. При этом они еще высокомерничают: они даже утверждают, будто кайзер — взрослый человек. А я читал в газетах, что испанский король — ребенок; и все короли и императоры таковы, — пусть не вздумают уверять нас в обратном! Однако, при всех ненужностях, есть у взрослых нечто, к чему мы никак не можем быть равнодушны: Господь Бог. Правда, я ни у кого из них Его не видел, но это-то именно подозрительно. Мне пришло на мысль, что они, по своей рассеянности, занятости и спешке, могли Его

где-нибудь затерять. А без Него многое не может быть: солнце не может всходить, дети не могут появляться, да и хлеба не будет больше. Когда запасы иссякают даже у булочника, тогда Господь Бог сидит и вертит большие мельницы. Словом, легко привести ряд доводов, почему Господь Бог есть нечто такое, без чего нельзя обойтись. Поскольку же однако твердо установлено, что взрослые о Нем не заботятся, этим должны заняться дети. Послушайте, что я придумал. Нас здесь как раз семеро ребят. Каждый должен носить при себе Господа Бога в течение одного дня — тогда Он всю неделю будет у нас, и можно будет всегда знать, где именно Он находится.

Тут возникло большое затруднение. Как это осуществить? Разве Господа Бога можно зажать в ладонь или сунуть в карман? К тому же один малыш рассказал: «Я был один в комнате. Маленькая лампа горела возле меня, а я сидел в кровати и читал молитву на сон грядущий — очень громко. Что-то зашевелилось у меня в сложенных ладонях. Оно было мягкое и теплое: точно бы крохотная птичка. Я не мог разнять ладони, потому что молитва еще не окончилась, мне было очень любопытно, и я молился страшно быстро. Потом когда я сказал «аминь», я сделал вот так (малыш развел ладони и растопырил пальцы), но там ничего не оказалось».

Это всем было ясно. Даже Ганс ничего не мог посоветовать. Все смотрели на него. И вдруг он сказал: «Ведь это же глупо. Каждая вещь может стать Господом Богом. Надо только это ей сказать. Он обратился к стоящему всех ближе к нему рыжеволосому мальчику: «Животное этого не может. Оно убегает. Но вещь, видишь ли, она всегда на месте, ты войдешь в комнату, ночью ли днем ли, она вечно тут — она, конечно, может быть Господом Богом».

Понемногу все оказались убеждены. «Но только нам нужна маленькая вещица, которую можно всюду носить с собой, иначе это не имеет смысла. Вывертывайте-ка карманы!» Тут появились на свет очень странные предметы: полоски бумаги, перочинные ножи, стиралки, перья, бечевки, камешки, винтики, колышки и всякое другое, что издали нельзя даже разобрать или для чего у меня нет названий. И все эти предметы лежали на неемких детских ладонях, точно бы испуганные неожиданной возможностью стать Господом Богом; и каждый, кто мог хоть немножечко блеснуть, блеснул, чтобы понравиться Гансу. Выбор долго колебался. Наконец, у крошки Розы нашелся наперсток, который она как-то раз стащила у матери. Он сиял точно серебряный, — и за свою красоту он-то и стал Господом Богом. Сам Ганс надел его на палец, ибо черед начался с него, и дети целый день ходили за ним следом и гордились им. Лишь с трудом сговорились, к кому перейдет он завтра, и тогда Ганс предусмотрительно установил точную очередь на всю неделю, дабы не возникло ссор.

Такого рода порядок оказался в общем очень целесообразным. У кого находился Господь Бог, того можно было узнать с первого взгляду. Ибо тот ходил чуть подтянутее и праздничнее, и лицо у него было словно воскресным днем.

Первые три дня ни о чем другом дети не говорили. Каждую минуту кто-нибудь из них просил дать взглянуть на Господа Бога, и хотя наперсток под влиянием великого своего сана ничуть не изменился, все же наперсточное в нем казалось теперь лишь достоподобным одеянием для его истинного облика. Все шло заведенным порядком. В понедельник он был у Павла, в четверг — у крошки Анны. Наступила суббота. Дети играли в салки и без передышки носились друг за другом, когда Ганс вдруг крикнул: «А у кого Господь Бог?» Все остановились. Один глядел на другого. Никто не помнил, чтобы видел Его вот уже два дня. Ганс высчитал, чей был черед; вышло — малютки Марии. И вот стал он без всяких требовать у малютки Марии Господа Бога. Что тут было делать? Малютка шарила по своим карманам. Тут только пришло ей на память, что она утром получила Его; однако теперь Его не было — видимо за игрой она Его потеряла.

И когда все дети пошли домой, осталась малютка на лугу и стала искать. Трава была довольно высокой. Дважды мимо шли люди и спрашивали, что она потеряла.

Каждый раз ребенок отвечал: «наперсток» — и продолжал искать. Люди, на минуту, делали то же, но скоро уставали нагибаться; один сказал, уходя: «ступай-ка лучше домой, можно ведь купить новый». Но Мариюшка продолжала поиски. Луг в сумерках делался все более чужим, и трава стала сыреть. В это время снова шел мимо человек. Он наклонился над ребенком: «Что ты ищешь?» Теперь Мариюшка ответила, почти уже в слезах, но храбро и упрямо: «Господа Бога». Чужой человек засмеялся, взял ее просто за руку, она позволила вести себя, как будто теперь все стало хорошо. Дорогой сказал чужой человек: «А вот погляди, какой я сегодня прекрасный наперсток нашел...».

Вечерние облака давно уже выказывали нетерпение. Теперь ко мне обратилось белое облачище, которое тем временем распухло: «Извините, не будете ли так добры... назвать мне... имя страны... над которой мы...»

Но остальные облака понеслись, смеясь, в небо и повлекли старика за собой.

О том, кто слышит камни

И вот я снова с моим параличным другом. Он посмеивается на привычный лад: «А об Италии вы еще ни разу мне не рассказывали». — «Иначе говоря, я должен сделать это как можно скорее?..»

Эвальд кивает головой и уже закрывает глаза, чтобы слушать. Я начинаю так: «То, что нам представляется весной, кажется Богу чем-то вроде легкой, маленькой улыбки, пробегающей по земле. Она точно бы кое-что вспоминает, потом, летом, об этом рассказывает, пока не наберется мудрости в той великой, осенней молчаливости, с которой отдает себя одиноким. Но даже ежели все весны, прожитые мною и вами, собрать вместе, их все же не хватит, чтобы заполнить один миг перед Богом. Весна, которую может приметить Бог, никак не должна оставаться в деревьях и лугах, ей нужно проявить себя как-нибудь в людях, ибо только тогда она, так сказать, не убегает вместе со временем, но скорее предстает в вечности пред Божьим ликом.

Как-то раз, это случилось, должны были Божьи взоры, на темных крыльях своих, нависнуть над Италией. Светла была внизу страна, время сияло золотом, но наискось, через все, точно темный путь, бежала тень какого-то широкого человека, тяжкая и черная, а далеко впереди — тень его творящих рук, неумная, маячащая то над Пизой, то над Неаполем, то разливающаяся по смутному волнению моря. Бог не мог отвести глаз от этих рук, которые сначала представлялись ему точно бы молитвенно сложенными, но эта молитва, от них изливавшаяся, далеко разводила их врозь. Наступила тишина в небесах. Все святые последовали за Божьим взором и, как Он, смотрели на тень, наполнившую собой половину Италии, и гимны ангелов застыли на лицах их, и звезды дрожали, ибо испугались, не провинились ли они чем-нибудь, и смиренно ждали гневного Божьего слова. Но ничего такого не произошло. Небеса раскинулись над Италией во всю свою ширь, так что Рафаэль в Риме преклонил колена, а блаженный фра Анджелико из Фиезоле стоял на облаке и умилялся. Много молитв было в тот час на пути с земли. Но Бог распознал только одну: сила Микеланджело, как запах виноградников, шла к Нему в вышину. И Он потерпел, чтобы она наполнила Его помыслы. Он нагнулся глубже, отыскал творящего человека, бросил поверх его плеч взор на прислушивающиеся к камню руки и испугался: неужто и в камнях есть души? Зачем слушает этот человек камни? А тут вспрыгнули руки и стали взрывать камень точно могилу, в которой чуть мерцает слабый умирающий голос. «Микеланджело, — окликнул Бог смятенно, — кто там в камне?» Микеланджело прислушался; руки его трепетали. Потом отозвался он глухо: «Ты, Господи, — кто же еще? Но не могу я добраться к Тебе». И тогда Бог почувствовал, что Он впрямь находится в камне, и стало Ему боязно и тесно. Все небо было теперь

только камень, и в середине был заперт Он сам, и надежда Его — на руки Микеланджело, которые должны Его освободить, и Он слышал, как они приближаются, но еще издалека. Мастер же опять склонился над работой. Он неизменно думал: ты только малый обломок скалы, и кто другой едва ли мог найти в тебе человека; я же чувствую здесь плечо: это — плечо Иосифа Аримафейского, тут вот склонилась Мария, я ощущаю Ее трепетные руки, держащие Иисуса, Господа нашего, только что умершего на кресте. Ежели в этом малом мраморе уместились они трое, то как же не поднять мне из скалы целый спящий в ней род людской? И широкими ударами вывел он наружу три облика Pietà, однако не вовсе убрал каменные покровы с их лиц, словно боялся, что их глубокая печаль может косностью лечь на его руки. Так принялся он за другой камень. Но ежеразно отказывался дать он лбу полную его ясность, а плечу — чистейшую его округлость, а когда ваял женщину, то не клал последней улыбки на ее рот, дабы красота ее не вся была предана.

В эту пору делал он набросок надгробного памятника для Юлия делла Ровере. Целую гору хотел он воздвигнуть над железным папой и целое племя вдобавок, населявшее эту гору. Исполненный множества смутных замыслов, вышел он за город, к своим мраморным каменоломням. Над бедным селеньем круто вздымался скат. Огрененные оливами и выщербленным камнем, свежевывломанные плоскости казались подобием большого, бескровного лица под седеющими волосами. Долго стоял Микеланджело перед его укрытым лбом. Вдруг, под ним, заметил он два огромных глаза, взирающих на него. И Микеланджело почувствовал, как растет его облик под действием этого взгляда. Теперь он и сам вздымался поверх страны, и было ему так, словно от вечности здесь братски стоял он перед этим утесом. Долина уходила под ним вниз, как под идущим в гору, лачуги жались друг к другу, как стада, и ближе и родственнее проступал каменный лик под белыми мраморными покровами. У него было ожидающее выражение, застывшее, но все же на грани движения. Микеланджело подумал: Тебя нельзя раздробить, ибо ведь Ты — единство, — и потом сказал вслух: «Я закончу Тебя, Ты — мое творение». И пошел назад во Флоренцию. Он видел звезду и башню собора. И под его ногами был вечер.

Вдруг у Porta Romana он замедлил шаги. Оба ряда домов протянулись к нему точно руки, — и уже схватили его и втянули внутрь города. Все теснее и сумрачнее становились улицы, и когда он вошел к себе в дом, то уже знал, что его держат руки, из которых ему не уйти. Он побежал в зал, а из него — в нижнюю, не больше двух шагов, каморку, в которой обычно писал. Ее стены обступили его, и было так, словно бы они боролись с его сверхмерностями и понуждали его вернуться назад в старый, тесный облик. И он претерпел это. Он поник к коленям и предоставил ваять себя. Он чувствовал неведомое прежде смирение и сам испытывал желание быть елико возможно меньше. И послышался голос: «Микеланджело, кто это в тебе?» И человек в узкой каморке положил тяжело лоб в ладони и сказал тихо: «Ты, Господи, — кто же еще?»

И тогда, расступилась ширь вокруг Бога, и Он поднял склоненный над Италией лик легко ввысь и глянул кругом: в мантиях и митрах предстояли ему святители, и ангелы ходили взад и вперед с перьями своими, точно с кубками, полными сверкающей влаги, под жаждущими звездами, и небесам не было конца...»

Мой параличный друг поднял вверх взгляд и позволил вечеровым облакам повлечь его за собой в небесную высь. «Разве же Бог там?» — спросил он. Я молчал. Потом я наклонился к нему: «Эвальд, разве же мы здесь?» И мы сердечно подали друг другу руки.

Подготовка текста Михаила Толмачёва

Литературный европеец. — Франкфурт на Майне, 2000. — № 24, февр. — С. 18—23 (с исправлениями).